

С.С. Неретина

Революция: мир сначала?

В статье проводится анализ поэтики О. Мандельштама, согласно которой революция приводит к исчезновению смысла культуры. Проза Мандельштама рассматривается как философская проза. Единство экзистенциального переживания события и теоретического движения мысли, позволяющее поэту метафоры превращать в понятия, свидетельствуют о событии востребованности поэзией философии, декларирующей о наступлении эры масс-культуры.

Ключевые слова: поэзия, культура, смысл, революция, метафора, проза, трагедия, ничто, разночинцы, самосознание.

В одном докладе, прочитанном в Институте философии, прозвучала мысль о параллельности революционных ожиданий: у народа было свое народное ожидание, а у интеллигенции свое, и эти ожидания не пересекались. Я немного утрирую, чтобы высветить смысл. Естественно, кое-какие знания, которые были о революции, заставили усомниться в таком математическом видении, поскольку известны и замечательные писатели и художники, прошедшие через ее горнило, и отлынивавшие от нее крестьяне. Я, к сожалению, не историк, который занимался социальными, в основном рабоче-крестьянскими срезами, но многие интеллигенты были выходцами из этой среды и, уж точно, знали ее несколько лучше, чем мы.

Потому мне хотелось бы проверить эту гипотезу, рассмотрев сами произведения той поры.

В России идея культуры рождалась и на малоцивилизованной почве, и в условиях жесткой государственности «третьего Рима».

Эта идея была символом свободы и персональности. Такое сознание только-только появлялось в надеждах XIX в. на реформаторские задачи Александра II, а рождающегося XX столетия – на революцию. Эпиграф рубежа веков: «Мир сначала». Как говорил Мандельштам: «Вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему»¹. Ни одного поэта, ни одного философа, ни одного теоретика еще не было, зато «в междупланетных пространствах» разом возникало, будто из небытия, множество идей, научных систем, государственных теорий, столько лабиринтов и тайников и заповедных ходов, что потребовалось слово, «оживляемое дыханием всех веков» одновременно². Это осознание одновременности веков сроднило, кстати, философии культуры начала и конца XX в. при всей разности теоретических обоснований.

В результате ряда реформ последней трети XIX в. в России были отпущены идеологические вожжи, и в нарождающемся общественном мнении выявилось столько разногласий – между центром и окраинами, политическими партиями, движениями и группировками, – что это мгновенно всколыхнуло вопрос о *самосознании* и всполошило интеллигенцию, осознавшую кризис как грозящую катастрофу, с которым ей не суждено было справиться. Идея культуры как самосознания родилась в попытках сконденсировать европейский опыт в фокусе насущного *правосознания*. И родилась она, как по заказу, с первых шагов XX в., а в 1900 г., книгой П.В. Милюкова «Очерки по истории русской культуры», которые квалифицировались как «первый опыт истории русского самосознания»³. Появление идеи культуры в России связано с появлением *разночинства*.

Прекрасному изображению примет этого *разночинного* времени мы во многом обязаны О.Э. Мандельштаму, который выразил в прозе 20–30-х годов XX в. не просто значительные культурно-теоретические идеи конца XIX–XX вв., но *оспаривающие* друг друга⁴. Для интеллектуальной среды это было выражение «вероятности, желаемости и ожидаемости». Эта среда – «приглашающая сила... вызов»⁵.

Разночинец настолько связан с протестом, что можно сказать: он субстантивировал предлог «против», образовав своего рода русский протестантизм. Представляя разно- и многообразие и являясь соответственно противником всего строя современной ему жизни, он оппозицию трансформировал в нигилистическую реакцию, будучи против сословий, против социальной системы, против государства, литературы и искусства, философии, морали, унификации, единности, однозначности и универсальности, против, наконец,

самого бытия. Нигилизм – своего рода теоретический голод, на который сознательно обрекает себя все отрицающий разночинец. В «Шуме времени» (1925) Мандельштам писал:

Давно выкипели фетовские соловьи... <...>

Больные, воспаленные веки Фета мешали спать. Тютчев ранним склерозом и известковым слоем ложился в жилах. Пять-шесть последних символических слов, как пять евангельских рыб, оттягивали корзину: среди них большая рыба: «Бытие».

Ими нельзя было накормить голодное время и пришлось выбросить из корзины весь пяток и с ними большую дохлую рыбу «Бытие».

Отвлеченные понятия в конце исторической эпохи всегда воняют тухлой рыбой⁶.

Предельно выраженный нигилизм востребовал такую пустоту, которая выполняла бы функции порождения нового бытия. *Такой предельно экзистенциальной идеей была идея революции, определявшейся как «жизнь и смерть».* Эрфуртская программа, о которой вряд ли вспомнит нынешний школьник, у Мандельштама представлена «источником космической радости», дававшим «ощущение жизни в предысторические годы»⁷.

Ощущение пустоты – как бы не жизнь.

Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры – разбившийся, конченный, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие как устойчивую погоду вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночь, в глубокую зиму...⁸

Мандельштам замечает, что «в обиходе символистов приняты были примерно такие разговорчики: “Как поживаете, Иван Иванович? – Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу”»⁹. Но, судя по всему, это выражение присуще не только символистам, сам Мандельштам не раз повторяет его безотносительно к литературным направлениям: «...старушка жила в предсмертной праздничной чистоте»¹⁰. Бытие как предельность жизни и смерти с их последними вопросами, как вечно или – что одно и то же – мгновенно новое, могло ли оно понимать слово не как революционное, не постоянно творящееся, обращающееся лицом к традиции? Это, конечно, пока еще ожидание начала. Разрушим, а затем мы наш, мы новый мир построим...

Разночинцы, желавшие быть отличными друг от друга и потому пропускавшие через собственную душу множество различных

возможных сознаний, обнаружили в себе благодаря этому множество неравных и потому никогда не самождественных Я. Вопрос о самождественности, а еще лучше – о гармоничности личности казался «пустопорожней, раздутой трюизмами и арифметическими выкладками болтовней»¹¹. Их объединяло не сословное и не профессиональное единство. Их объединяла нерасторжимая связь со словесностью: книжной, публицистичной, т. е. письменной, звучащей (театрально-музыкальной). Сама интеллигенция, носитель этой книжности, двусмысливалась Мандельштамом. Одна – «монашествующая интеллигенция, Византия», другую Мандельштам называет интеллигенцией скорее по установившейся привычке, на деле к ней больше подходит термин «миряне», которые составляют противовес «чернецам, т. е. интеллигентам». Эти миряне-интеллигенты обмирщают речь, *главное, что происходит в революции*. Это значит, что миряне-интеллигенты изгоняют из нее (из речи) «Византию», – «несут языку добро, т. е. долговечность, и помогают ему как праведному совершить подвиг самостоятельного существования в семье других наречий». Пастернак и Хлебников являются для Мандельштама выразителями этой «вульгатности» в противовес, как он пишет, «латинской Библии». Поразителен здесь сам перевертыш: *вульгатность*, слово, применяемое к одному из переводов Библии, теперь *становится предметом апологии мирянина*, усматривающего в нем залог речевого освобождения, в том числе и от веры. В светской бесписьменности, враждебной церковной, византийской грамоте, – корень не только свободы слов, но свободы телесных вещей, поскольку все вещи – книги. Превращенная в книгу вещь – всегда только подобие вещи, как теперь бы сказали – симулякр, превращенная в вещь книга – подобие вещи. Они имманентны друг другу, образуя «домашнее корнесловье, язык мирян», который Мандельштам называет «переходным, промежуточным», «не успевшим затянуться смысловой корой правильно и праведно развивающегося языка»¹², а потому остающимся текстом, всегда готовым измениться.

Мандельштам, конечно, теоретизирует. Иногда складывается впечатление, что это он учился в Германии философии (так и было, учился 2 семестра в Гейдельберге на романо-германском отделении философского факультета) и выбирал, быть ему поэтом или философом (как Пастернак). Он сам давал себе оценку. Он не выбирал. Он *знал*, кто он. «Шум времени» написал после революции. Он, апокалиптически настроенный в 1917 г., пытается встать над событиями, он силится обнаружить катарсис сильнейшего, трагичнейшего события века и его разрешение в чем-то, столь же важном

для понимания человека, – в речи, ибо именно «по речи человеку быть». Я не знаю, откуда О.А. Лекманов взял, что у разночинцев было стремление «быть как все». Не только при чтении литературы, но и из личного знакомства с некоторыми из тех, что были разночинцами, возникает другое впечатление: что разночинцы подменяли жизнь книжностью, перенося в действительность идеи, почерпнутые из книг. «Я не выдерживаю карантина и смело шагаю... обвешанный придаточными предложениями, как веселыми случайными покупками». Это предложение отсылает к магазину со связками баранок. Зато «песня качается в седлах» – к недавно происшедшему событию, которое непосредственно переживается. Это экзистенциальное событие, где совершенно неуместно никакое теоретизирование тем более неуместна ни от-, ни о-странность. Здесь царит экзистенциальный ужас. Это теоретизирование 20–30 гг. словно само вызывало и будущий тотальный социально организованный ужас, всматриваясь в него.

Итак, «мир сначала», радостный довоенный клич, на деле инициирует похороны, вслед за которыми разверзается бездна. Мандельштам обнаружил именно гегелевское бытие как ничто, nihil, расступающуюся пропасть, заставившую «изучить науку расставанья» (Tristia).

Свою жизнь в этот момент он понял как смерть. Дальше говорил и жил, будто в земле Персефоны. И хотя «еще волнуются живые голоса // О сладкой вольности гражданства» (июнь 1917), но рядом уже «Керенского распять! – потребовал солдат, // И злая чернь рукоплескала; Нам сердце на штыки позволил взять Пилат, И сердце биться перестало». Это стихотворение, судя по всему, неслучайно без названия, оно опубликовано под № 185, под номером, которым – номером – и его наградят в лагере, как орденом. Оно явно относится к гражданской лирике, пронизано *болью и страданием* из-за потерянных иллюзий: «Среди гражданских бурь и яростных личин, / Тончайшим гневом пламеня, / Ты шел бестрепетно, свободный гражданин, / Куда вела тебя Психея», но (полный перелом настроения) «благодарить тебя в далекий ад сойдет / Стопами легкими Россия».

Не только Мандельштам обнаружил образовавшуюся пропасть. Замечательный философ-диалогист А.А. Мейер в это же примерно время опасался, что разверзнется бездна. Блок за ним записывал: «Опустошение самого дела революции – вот опасность». Впрочем, Мейер еще питался иллюзиями, говорил, что и нет никакой революции. Другая его слушательница запомнила такие его слова: «Не было борьбы. Старая власть саморазложилась, отпала, и народ

оказался просто голым»¹³. Остальное все – призраки. Лишь через 11 лет, когда его арестовали, приговорили к расстрелу и помиловали, он понял, что революция все-таки произошла. И умолк.

Стихи Мандельштама этих лет полны жестких гипербола и противопоставлений: «И в декабре семнадцатого года (вот октябрьская революция! – С. Н.) // Все потеряли мы, любя: // Один ограблен волею народа, // Другой ограбил сам себя». Определение ада – это «звуки омерзительного бала». Это время трех образов: *ночного солнца*, которое «хоронит // Возбужденная играми чернь», *века как волка* («Я вижу человека: он // Волков горящими пугает головнями») и – *телефона*, технического способа подать весть о смерти: «друг полночных похорон». Может, впервые следует прямая издевка над головнями – лозунгами, которыми оказываются «свобода, равенство, закон». Много позже возникнет не менее ироническое Иосифа Бродского «Равенство, брат, исключает братство». Ирония, правда, означает здесь, у Мандельштама, *полную бесповоротность и совершенную трагедию*. Его прозорливость удивительна. Время начала он назвал «сумерками свободы» (исследователи до сих пор спорят, о каких сумерках идет речь в этом стихотворении – вечерних или утренних, – но не о них речь). Начало означало конец. Начало сомкнулось с концом. Время исчезло в полном соответствии с предсказанием известного супрематиста: Время = 0. Он взывает к времени: «В ком сердце есть – тот должен слышать, время, как твой корабль ко дну идет». Он это не предполагал, не допускал, а *знал*. Здесь сомкнулись экзистенциальное чувство и теория, и это запрещает утверждать и даже предполагать параллельность революционных ожиданий, о чем говорилось в начале этой работы.

Именно это знание конца и позволяло ему дальше, во-первых, не жить, а «играть с людьми», во-вторых, жить в виртуальном книжном мире, в мире как будто уже рассказанном. «Есть люди-книжки и люди-газеты... есть люди-подстрочники»¹⁴. Метафорой (для нас, а для него виртуальной реальностью) такого образа жизни был книжный шкаф. Апология книжного шкафа у Мандельштама такова, что снимает всякую иронию с чеховского «многоуважаемого шкафа», к которому поневоле начинаешь чувствовать боязливое почтение именно потому, что это виртуально-живое действующее лицо. Слово, разумеется, и сейчас творило мир, но как бы вторично.

Смысл скукоживания вещи в книгу в превращении – но не «ничто» в «нечто», а наоборот: «нечто» в «ничто», книги в звук, который ускользает в пустоту.

Все уменьшается. Все тает. И Гёте тает. Небольшой нам отпущен срок. Холодит ладонь ускользящий эфес бескровной, ломкой шпаги, отбитый в гололедицу у водосточной трубы. Но мысль, как *палаческая* сталь коньков «Нурмис», скользящих когда-то по голубому с пупырышками льду, не притупилась¹⁵.

Смысл бытия – в ускользании в пустоту. Жизнь, «страшно подумать, сделана из» что там стекла – из «пустоты». А поскольку бытие – это революция, то и ее смысл, с одной стороны, в книжности, с другой – в «езде в неизвестное», в некоей утопичности, а с третьей – в пустотном жерле, пожирающем, подобно Сатурну, своих детей.

Стоит ли удивляться, что палачи-властители, сталины или робеспьеры, появляются именно во время революции и являются ее выразителями, т. е. теми, кто правит бал поглощающей пустоты? «Октябрьская революция не могла не повлиять на мою работу, так как отняла у меня “биографию”, ощущение личной значимости, – напишет Мандельштам в 1928 г. – Я благодарен ей за то, что она раз навсегда положила конец духовной обеспеченности и существованию на культурную ренту»¹⁶.

Что еще важного «сказала» революция Мандельштаму? Она обратила его внимание на разный говор людей, на жаргон. Смысл жаргона двойствен: он, с одной стороны, консервативен, с другой – динамичен и разомкнут. Поэтика смешения и смещения, присутствующие в жаргоне, способствует не только смеховой интерпретации культуры, но и установке на здравый смысл, где и коренится «радость умеренных движений», ибо культура в таком случае может исчезнуть. Поскольку она представлена книгой, связанной с пожаром («пожары и книги – это хорошо»¹⁷), этот концепт тут же поглощается им и требуется усилие для создания нового. Ибо, по Мандельштаму, *можно жить и без языка*. Язык вообще складывается только при наличии многоглаголия. Особенность жаргона в том, что он обладает способностью трансляции смыслов. Он по сути разномыслен и универсален в своей особенности, это своего рода экзистенциальная копия.

Разночине не могло говорить на одном языке уже в силу провозглашенной дифференцированности, которая смещает все знаки, все понятия, требуя новых определений для самых обыденных вещей и слов, образуя слоистую систему неоднородности однородных членов предложения (Абраша Копелянский ехал «с грудной жабой и тетей Иоганной»), переносов, метафор, аналогий, двусмысленностей. Метафора должна была вздыбливать речь («черный сахар снега»), создавая своей новизной и неестественностью эмоциональный

или интеллектуальный ступор, иронию и парадокс, что все вместе создает впечатление *речевого безумия*, если бы не была очевидна сделанность или технологичность этого безумия. «Больше всего у нас в доме боялись „сажи“, то есть копоти от керосиновых ламп. Крик “сажа” – “сажа” – звучал как “пожар”, “горим”». Лампу при этом «казнили» приспусканием фитиля. Оседавшая на белье сажа понималась как «эфир простуды», холод как «чудный гость дифтеритных пространств»¹⁸, примерка галош – как танец, тишина была «усатой», а шестилетний человек, отправляющийся на зимнюю прогулку «в тяжелых зимних доспехах» наушниках – «ватным Бетховеном»¹⁹.

Анализ речи – сугубо профессиональный, спокойный, даже отстраненный, но с революционно-взрывными метафорами огня, пожара, болезни, палача, казни. Аналогии, метафоры и метонимии соперничают с полным хаосом и переворачиванием моральных представлений. «Секретарша Бухарина – совершенная белочка», – пишет он, и это правда. «И вместе с тем она – другая правда» – сама партия²⁰.

Несмотря на нагнетание метафор, аналогий, неологизмов, разрывов, пустот, которых он не боялся²¹, проза Мандельштама – философская проза, полная определений, анализов и доказательств. Метафоры-метонимии-тропы возникают как раз вследствие понимания, что «отвлеченные понятия в конце эпохи всегда воняют тухлой рыбой», каковой рыбой стало и дохлятина-Бытие. Поэт жаждал понять телесное происхождение ума (общее в вещи, концептуалистское видение – «и плотью одеты слова»), то, чем сейчас заняты крупнейшие мыслители (Джордж Лакофф), противопоставившие себя объективизму, сумел, не зная-не ведая о них и тем самым совершив революцию на основе революции: вещи сворачиваются в книгу, и само чтение у него физиологично²².

Он, повторим, наблюдатель, из-вне, вне-находимо зорко следящий за движением мысли, строящий типологии, определяющий направления (позитивизм, символизм, модернизм), не столько превращающий понятия в метафоры, сколько *метафору превращая в новое понятие*: поэзия востребовала философию.

Книга собрала за одним столом разных людей, хотя и одновременно, в некий момент. Это разные (разночинные) люди, которых объединяет неистовость духовного напряжения, при котором происходит совпадение низжайшей и высочайшей температур. Это род единичных личностей, представляющих некое (ими выраженное) всеобщее, то есть чисто философское представление всеобщего

бытия-в-литературе (культуре). Это стол, за которым собрались гости Вальсингама, пируя во время чумы. И именно здесь замыкается круг: «Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры... я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство непомерной стужи...»²³.

«Круг чтения» замкнулся на государственность в ее предельно тотально-экзистенциальном выражении. Культура, таким образом, обернулась продуктом самодержавной идеологии, символом которой является у Мандельштама книга. Конец этого времени – это и конец культуры. Совершенно понятен бунт следующего поколения, бунт, поднятый, однако, сбоку, на Западе против культуры, которая есть книга, теми, кто прошел искушение идеологии. Разрывы письма и пустота, коллажи, неконтиуальность, заявленные Мандельштамом как новый способ маргинального мышления, – *попытка преодоления такого рода культурности*. Поэтому рожденная различиями культура, в которой вещи скукоживаются в книгу, свидетельствующую не бытие (построенное на законе), а идею бытия, ускользающую в пустоту или в сон, расценивается как провал, ассоциирующийся с Россией. В «сомнамбулическом ландшафте» полковника Цыгальского, мечтавшего, подобно Милюкову, о России, «увенчанной бармами закона», «был провал, образовавшийся на месте России. Черное море надвинулось до самой Невы... Где-то между Курском и Севастополем, словно спасательные буйки, плавали бармы закона, и... какие-то слепые рыбаки в челноках вылавливали эту странную принадлежность государственного туалета...»²⁴

Здесь сомкнулись эмоциональное впечатление о пропасти социальной революции со злой чернью, распинавшей Керенского, с теоретически-интеллектуальным рассуждением о пропасти развершейся культуры, которая в этой пустоте утратила обеспеченность персональным опытом стала декларативным, пустым или «вываленным в народе».

Вываливание в народе он полагает свойством русского человека, оно сродни потере личного достоинства. Это нечто противоположное тому, что говорило большинство русской интеллигенции, желавшей – во имя угнетенного народа – наступить на горло собственной песне. Это, по Мандельштаму, наступление времени масс, толпы. «По Гороховой улице с молитвенным шорохом двигалась толпа. Посередине ее сохранялось место в виде каре. Но в этой отдушине... был свой порядок, своя система: там выступали пять-шесть человек, как бы распорядители всего шествия. Они

шли походкой адъютантов. Между ними чьи-то ватные плечи и перхотный воротник. <...> Сказать, что на нем не было лица? Нет, лицо на нем было, хотя лица в толпе не имеют значения, но живут самостоятельно одни затылки и уши». Эта мысль потребовала повтора и как поэтического усиления, и для приобретения значения нового философского понятия. «Шли плечи-вешалки, вздыбленные ватой апраксинские пиджаки, богато осыпанные перхотью, раздражительные затылки и собачьи уши»²⁵.

Мандельштам назвал толпу «затылочными гражданами», и это тело толпы означало революционную катастрофу. Толпа. Или масса – новое философское понятие, которое станет предметом философско-социологических исканий века, как и понятие тела, в данном случае безголового тела, поскольку затылок без лица – это не голова, и все действия безголового тела лишены смысла. В эту массовость включался каждый человек, социально лишаемый индивидуальности. Лишенность смысла понимается как бездонность, бездна или провал – место, которое отвел Мандельштам кончающейся культуре. В этом провале действительно нет лица, т. е. нет себя, и потому слова, даже если каждое из них само по себе понятно, вместе будут абсурдными, глухими и непонятными. Сила толпы заключается в немощи ее слов, в отсутствии какого-либо понятия, каких-либо функций и какой-либо целесообразности. Слова такого тела только декларативны, сентиментально-гробовые, способные вызвать внешние аффекты.

Примечания

- ¹ Мандельштам О. Слово и культура. Статьи. Рецензии. М., 1987. С. 41.
- ² Там же. С. 42–43.
- ³ См.: Милоков П.Н. Очерки по истории русской культуры. М., 1992.
- ⁴ Мандельштам О. Путешествие в Армению // Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 195.
- ⁵ Там же. С. 202.
- ⁶ Мандельштам О. Шум времени // Там же. Т. 2. С. 388.
- ⁷ Там же. С. 376.
- ⁸ Там же. С. 392.
- ⁹ Там же. С. 391.
- ¹⁰ Мандельштам О. Феодосия // Там же. С. 397.
- ¹¹ Мандельштам О. Шум времени. С. 380.
- ¹² Мандельштам О. *Vulgata*. С. 298–301.
- ¹³ Мейер А.А. Философские соч. Париж, 1982. С. 14, 15.

- ¹⁴ *Мандельштам О.* Шум времени // Мандельштам О. Собр. соч. Т. 2. С. 370.
- ¹⁵ *Мандельштам О.* Египетская марка // Там же. С. 489.
- ¹⁶ *Мандельштам О.* Поэт о себе // Там же. С. 496.
- ¹⁷ *Мандельштам О.* Египетская марка // Там же. С. 490.
- ¹⁸ Там же. С. 482.
- ¹⁹ Там же. С. 486.
- ²⁰ *Мандельштам О.* Четвертая проза // Там же. Т. 3. С. 174.
- ²¹ См., например: *Мандельштам О.* Египетская марка // Там же. Т. 2. С. 482.
- ²² *Мандельштам О.* Путешествие в Армению // Там же. Т. 3. С. 201.
- ²³ *Мандельштам О.* Шум времени // Там же. Т. 2. С. 391–392.
- ²⁴ *Мандельштам О.* Феодосия // Там же. С. 399.
- ²⁵ *Мандельштам О.* Египетская марка // Там же. С. 475.